

Глеб Иванович Успенский

# Разговоры в дороге



Кой про что

Глеб Успенский  
**Разговоры в дороге**

«Public Domain»

1885

## **Успенский Г. И.**

Разговоры в дороге / Г. И. Успенский — «Public Domain»,  
1885 — (Кой про что)

«...Основная тема рассказа посвящена семье, взаимоотношениям между мужем и женой, положению, правам и обязанностям женщины. Эта тема очень занимала в те годы Успенского... писатель рассказывает об оживлении за последние годы народной мысли и о повсеместных шумных и содержательных «разговорах в дороге» среди народа, в «третьем классе». Успенский противопоставляет им молчаливость «первого и второго классов», русской интеллигенции, ее общественный индифферентизм под угнетающим воздействием правительственной реакции середины 80-х годов и обусловленную этим эволюцию народнической интеллигенции в сторону либерализма...»

# Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	9

# Глеб Иванович Успенский

## Разговоры в дороге

### I

...Если есть в настоящее время у кого-нибудь на Руси живые темы для живого, жизненного разговора о живых, жизненных делах и вопросах, так это, поистине, единственно, кажется, только в народной среде, то есть у мужика. Оригинальность и самобытность народной речи, во многом совершенно еще непонятная для так называемой чистой публики (а ведь публика эта разная: бывает добрая и недобрая), делает эту речь и это народное слово действительно совершенно свободным, не знающим никаких стеснений, особенно если дело идет «промежду себя». Это преимущество народного разговора, важное само по себе, приобретает особенную важность и интерес ввиду того огромного материала, взятого непосредственно из жизни, который имеет в своем бесконтрольном распоряжении эта свободная народная мысль, выражающаяся в свободном слове.

В течение последних двадцати пяти лет, там, в глубине народной жизни, и с каждым годом все больше и все шире, разрастаются всевозможного рода осложнения. Новому поколению приходилось и приходится разбираться в целой массе новых, неожиданных условий жизни, разбираться без указания, без совета (старики ничего в новом не понимают), приходится «ломать голову» над разрешением труднейшего вопроса о совести и копейке, страдать за него, разрывать связи с прошлым, переживать минуты горького сиротства, полной беззащитности и беспомощно гибнуть или же, повинувшись хоть и неясной, но светлой надежде, идти искать новых мест, новых нравственных связей, новых лучших и справедливейших материальных условий... Все эти большие народные задачи бременят и волнуют народную мысль подлинным образом; ложатся на сердце не так мимолетно, как ложатся на наше сердце, на сердце «чистой публики», хотя бы и самые возмутительнейшие жизненные факты, которые нам ежедневно приносит газета... Мы завтра забудем их, и сегодня нас уже не волнует то, что волновало вчера; опыт народной жизни не таков: он непосредственно касается человека, подлинно задевает его «за живое», выжигается на сердце, как клеймо, неизгладимо; и того, что выжжено им на сердце вчера, сегодня нельзя забыть; все это надобно обсудить, обговорить, выяснить, разобрать; надобно потому, что ведь только «своим умом» народу приходится обороняться от всевозможных неожиданностей и новостей его трудной жизни.

И галдит, без умолку галдит «третий класс» во всех поездах, бегающих по русской земле, не говоря уже о так называемых специальных, дешевых поездах, с некоторого времени устраиваемых для переселенцев и рабочих, возвращающихся из столицы по домам. Десять – пятнадцать «лошадиных» вагонов битком набиты народом; темная ночь, тьма кромешная; во всем поезде нет огонька, только цыгарки светятся, а несмотря на то, что уже «за полночь» – весь поезд гудит как муравейник, или, вернее, как паровой котел... И этот говор, перемешанный с звуками гармоний и крепких слов, не замолкает ни в полночь, ни за полночь, ни днем, ни ночью, не истощается в течение долгих дней самого медленного, черепашьего движения. Стало быть, народу есть о чем говорить, есть что порассказать друг другу.

А вот у нас, у «чистой публики», как будто дело пошло совсем наоборот, и в вагонах пассажирских поездов, предназначенных для пассажиров первого и второго класса, что-то стало молчаливо, а иногда по целым дням пути царствует поистине мертвая тишина. *Общего* разговора еле хватает на легкие вежливости и столь же легкие невежливости, которыми невольно приходится обмениваться во время суматохи отъезда и приезда, а затем много-много если хватит пороку у двух случайных знакомых потолковать (и то только до первой станции) о каком-

нибудь газетном сообщении, только что вычитанном обоими в последнем номере «Нового времени», и потом уж до самой Москвы для них не останется ровно ничего, кроме самого деликатного молчания. Шумного, общего разговора, разговора «целым вагоном», никогда почти не случается. А ведь в прежние времена такие разговоры были неизбежны, и чем далее к началу настоящего двадцатипятилетия, тем шумнее, оживленнее и неистощимее вспоминаются мне эти разговоры. Тогдашние разговоры «чистой публики» были так же жизненны, свободны и многосложны, а главное «общие», как теперь жизненны, шумны, а также общие разговоры публики лошадиных вагонов: у «чистой публики» тогда было так же много нового и жизненного, как много этого нового и жизненного теперь у публики третьего класса. Жизненные вопросы тогда захватывали всех вместе и каждого порознь; каждый и все вообще были заинтересованы в новых порядках, в земстве, в гласности, в новом суде, наконец в личной нравственности. И все это обсуждалось, критиковалось и вообще разбиралось открыто, громогласно, свободно.

Таких-то вот общих разговоров «целым вагоном» и не слышно что-то среди «чистой публики» в настоящее время. И не потому не слышно их, чтобы этих так называемых общих вопросов совсем уж и не существовало, а потому, что вопросы эти как-то перестали подлежать общему вниманию. «Чистая публика» привыкла знать, что из ее свободомысленных упражнений не может произойти никаких существенных результатов, но что в то же время общие вопросы неукоснительно разрабатываются в подлежащих местах и что, следовательно, ей самой тут делать нечего и беспокоиться не следует. Вот почему «чистая публика» первого и второго класса в настоящее время предпочитает тишину и молчание неумолчному в недавнем прошлом дорожному галдению и разглагольствованию. Одни из множества ваших соседей по вагону молчат потому, что искренно сняли с своих плеч бремя каких-то общих беспокойств, другие же (и таких едва ли не больше чем первых), напротив, молчат потому, что вся тяжесть и многосложность общих вопросов, не имея выхода ни в забвении, ни в общественной практике (хотя бы только в виде разговора), сосредоточилась в них «одних» и тяжким комком подкатила «под сердце»...

Иной из этих дорожных ораторов, который в былое время не дал бы вам сомкнуть глаз во всю дорогу от Петербурга до Москвы, и даже за Москву (так много было в нем общительности), в настоящее время, едва появится в вагоне, как уже алчными глазами ищет свободных мест и тотчас же занимает своими вещами целых два дивана: ему нужно, чтоб «никого не было», ему так лучше. Затем он долго и упорно начинает врать пассажирам, ищущим мест, что «места заняты», что «сейчас придет господин»... что «вещи, мол, не мои, а какой-то дамы, которая сейчас придет»... В конце концов он всегда отвоюет себе длинный диван в три места и, нисколько не смущаясь присутствием соседей, которым он только что так нахально врал о занятых местах, тотчас же, едва только тронется поезд, начинает укладывать свои пожитки на сетку, снимает калоши, устраивает в головах подушку и растягивается во всю длину выгнанного дивана... Покурив и позевав, он скоро уже чувствует потребность заснуть, хотя бы день только что начинался, и скоро вы, его сосед, отвоевавший у него себе место единственно при помощи обер-кондуктора, видите, как он, не торопясь (и «как дома»), поворачивает вам свою спину...

Ему никого и ничего не нужно среди всех нас или вас, посторонних людей; ему ровно не о чем с вами разговаривать; даже при сильном напряжении мысли он не мог бы придумать для беседы с вами ничего такого, что бы хоть в слабой степени было интересно для вас обоих. Если иногда, плотно выспавшись и не имея никакой возможности вновь заняться тем же похвальным делом, он попытается завести с вами речь (ему нет дела до вашего желания беседовать; ему просто самому захотелось поговорить, потому что надоело спать), то будьте уверены, что после самых неподходящих вопросов о том, «кто вы?» да «куда едете?», речь эта тотчас же перейдет на самые мелкие подробности жизни этого человека, живущего «сам по себе»; с удивлением вы слышите, что какое-то неведомое вам существо, с полным удовольствием на заспанном лице,

повествует вам о том, что картофель у него на хуторе «вот какой», что когда его жена была беременна последним ребенком, так именно в это время акушерка посоветовала ему завести кохинхинских кур, и что сосед Лупцовалов... «Вы знаете ведь Лупцовалова?» Такие неожиданные вопросы со стороны когда-то бывшего оратора, а теперь одеревеневшего обывателя, вовсе не удивительны. Ваш отрицательный ответ относительно Лупцовалова нисколько не удивит его, ему вовсе не нужно ваше мнение о его бормотанье; ему только бы самому выболтать любезный ему хлам, и когда он его выболтает, то опять начинает зевать и, совершенно забыв о вашем существовании, вновь предъявляет вам свою спину.

Совершенно не такова манера держать себя с дорожными соседями у того типа молчаливого проезжающего, который молчит не оттого, что ему ни до кого и ни до чего нет дела, а, напротив, оттого, что тысячи дел, касающиеся *всех*, сосредоточены и как бы заперты в нем одном. Он не только не занимает сразу шести мест, не врет, что «господин сейчас придет», и т. д., но, напротив, постоянно уступает, теснится и в конце концов оказывается прижатым в угол с вещами, которые не дают ему возможности ни протянуть ног, ни лечь, ни даже сесть поудобнее. Свое стремление к общительности (стремление, воспитанное в нем в те времена, когда он служил мировым посредником) он выражает в необычайной уступчивости к дамам, к детям, расточая тем и другим всевозможные знаки предупредительности. Но при всем том все-таки ни в какие продолжительные и общие разговоры ни с кем он вступать не решается: он знает, что он никому не нужен, что всякий теперь предпочтет мучить своего дорожного соседа подробнейшим повествованием о своих ничтожных семейных или хозяйственных делах, что даже вот эта красивая, изящная дама, красивым «ножкам» которой он уступил последнюю каплю собственно ему принадлежащего места, что она, так мило и бесконечно долго рассказывающая о том, как ее мужа обошли наградой, что она в конце концов также не далека от неожиданного вопроса: «Знаете ли вы господина Лупцовалова?» Все это он уже знает и, делая своим лицом невероятные мимические усилия, которые должны выражать непременно сочувствие пространным речам прекрасной дамы, напрягая свое воображение на то, чтобы те нечленораздельные звуки, которыми ему приходится отвечать на ее милый лепет, чтобы эти междометия «гм... хм... мм...» и т. д. казались бы ей приятным поощрением ее беседы, он в конце концов все-таки предпочтет упорно молчать. Даже и тогда, когда уйдет прекрасная дама и когда окажется возможным совершенно свободно протянуть ноги, все-таки он предпочитает сидеть молча, молча курить или молча читать книгу...

Но не все же молчит и этот мученик единоличной печали «обо всем» и «обо всех»; бывает, что и он, покоряясь настоящей потребности облегчить беседой свою душу, переполненную тяжестью общих забот, и найдя подходящего собеседника (такого же молчальника, как и он), вступит с ним в оживленный разговор о вопросах действительно общего значения. Но именно потому, что в нем одном так много этих общих забот сосредоточено, речь его хоть и оживлена, и нервна, все-таки она не имеет тени той жизненности, которую изобилует каждое слово собеседников лошадиного вагона. Огромные общие вопросы, которые теснят ему грудь, не оживотворенные в практической, живой действительности, родившиеся в книге, воспитавшиеся в голове и, кажется, умирающие в сердце, – эти большие вопросы трактуются разговорившимся молчальником почти всегда теоретически, отвлеченно; разговор идет, так сказать, о теоретическом остове вопроса, и от этого, хотя – повторяю – и нервно оживленного, разговора не веет жизнью, не ощущается в нем плоти и крови народной речи.

О чем может говорить в настоящее время разговорившийся об общих вопросах молчальник? Можно безошибочно сказать, что он не может говорить ни о чем, кроме – «Болгария», «Лев Толстой» и... (когда уж совсем разговорится) «Мужчины и женщины»... «Женщины виноваты»... «Мужчины виноваты»... «За женщин»... «Против женщин»... Все эти вопросы бесспорно многосложны, но наша жизнь (за исключением значительной доли вопросов «по женской части») их не разрабатывала; не пробовали еще оживотворить их сущность в

мелких подробностях обыденной жизни. «Европа» и «мы» – до сих пор ясно не похожи друг на друга только по книжкам и по газетам; здесь (то есть в книжках и газетах) читатель еще может различать эту только чуемую разницу; явления же действительности, напротив, постоянно омрачают эту книжную ясность разницы. «Непротивление злу» ведь тоже пока только в книжках, в журнальных статьях и в мечтаниях... Только вот дела по женской и мужской части как будто бы никак еще не съютались около какой-нибудь ясной теоретической формулы, и потому разговор о них вертится на ничтожных мелочах, преимущественно физиологического оттенка: Еще по «этой части» иногда можно услышать что-нибудь похожее на живое слово, во всяком случае что-нибудь взятое прямо из жизни, но когда разговор зайдет «о Болгарии», «о Европе» и «мы», тогда невозможно обойтись без теоретических фантазий, не имеющих в себе капли живой крови... Так же скелетообразны выходят разговоры и о Толстом, и о непротивлении злу. И хотя все такие разговоры ведутся оживленно и нервно, хотя иной раз, когда, например, загипнотизировавшись частым повторением слова «мы... мы... мы» и «Европа... Европа... Европа», хотя, говорю, и поверишь, что это «мы» уже существует, уже осуществлено во всех подробностях, но простого прикосновения действительности, хотя бы в виде господина, занимающего шесть мест и не моргнув глазом уверяющего, что все места заняты, – такого кусочка действительности вполне достаточно для того, чтобы вполне очнуться от гипнотизма и увидеть, что весь этот оживленный разговор навеян с печатной бумаги, из печатной книжки, а ведь этого, за продолжительностью безрезультатной мозговой практики, весьма достаточно для того, чтобы в конце беседы почувствовать только тяжелую душевную пустоту и какую-то даже озяблость всего тела.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.